
Лара Вейн
Живой экспонат
ХРУПКОЕ
ХРУПКОЕ
МУЗЕЙ

Лара Вейн
Живой экспонат

https://litres.ru/74812298
SelfPub; 2026

Аннотация

Кунсткамеру закрывают на ремонт, экспонаты увозят, а шестипалый кот остаётся сторожить пустой музей. Он живёт здесь с 1718 года, когда его принесли по указу Петра. С людьми кот не разговаривает: прячет скотч у грузчиков, пугает сторожей и вредных гостей, а хорошим людям тихо помогает. И, обходя опустевшие залы, вспоминает триста лет истории Петербурга.

Содержание

Пролог. Обход 4
Глава 1. Собрание 9
Глава 2. Палка 16
Глава 3. Жора 23
Глава 4. Проверка 29
Глава 5. Серёжка 36
Конец ознакомительного фрагмента. 37

Живой экспонат

Пролог. Обход

Два часа ночи. Время обхода.

Не сторожа. Моего. Сторож обходит музей в два и в шесть, это у него по инструкции, а у меня по инструкции — всегда. Моя инструкция короче: всё должно стоять на месте, никто не должен трогать то, что трогать нельзя, и никто не должен спать на посту, кроме меня.

Я начинаю с анатомического зала. Всегда с него. Сажусь на пол перед шкафом, на вторую полку снизу смотрю — там в толстой банке с притёртой крышкой лежит котёнок. Светлый, почти белый от спирта, хотя родился тёмным, как я. Лапы растопырены. На каждой передней — по шесть пальцев.

Это мой брат. Мы родились в одном гнезде. Ему досталась банка, а мне — всё остальное. Я до сих пор не знаю, кому повезло больше.

— Гм, — говорю я ему.

Это всё, что я говорю. Вообще. Кому угодно.

Я не мяукаю. Не потому, что не умею, а потому, что не вижу смысла. Мяуканье придумали кошки для людей, это я понял лет двести назад: друг с другом коты почти не мяукают, им хватает взгляда и хвоста. А с людьми я не разговариваю. Люди не умеют слушать котов, коты не обязаны их

учить. У нас с людьми договор: они меня кормят и не мешают, я ловлю мышей и не мешаю им. Почти.

А «гм» — это не разговор. Это мнение. Я его перенял у профессоров. Когда профессору что-нибудь не нравится, но он слишком воспитан, чтобы сказать «чепуха», он говорит «гм». Я слушал это «гм» почти триста лет и научился произносить его не хуже. Сотрудники смеются: «Барсук опять хмыкает». Пусть смеются. Значит, поняли.

Ну вот. Брат на месте.

Теперь — по кругу. Младенцы Рюйша в кружевных воротничках, все шесть, целы. Двухголовый телёнок на шкафу, на котором я обычно сижу, цел, обе головы смотрят куда положено: одна в зал, другая в окно. Ягнёнок. Поросёнок с хоботом. Змеи. Ящерица, которую переложили в новую банку в тысяча восемьсот девяносто втором году, когда старая треснула от визга одной гимназистки. Гимназистка, к слову, тоже была цела, хотя я тогда стоял за неё горой.

Дальше — коридор, зал Японии, зал Индии, Африка, Америка. Самураи стоят. Маски висят. Индеец у костра сидит, костёр у него из красной тряпки с лампочкой, лампочка выключена. Всё как всегда.

Я проверяю это каждую ночь с тысяча семьсот двадцать восьмого года, когда меня привезли в это здание. Раньше были другие залы и другие вещи, а дело было то же.

Вы спросите, сколько мне лет.

Много. Я родился в апреле тысяча семьсот восемнадцато-

го года на Охте, у кошки плотника Степана Носова. Серой с белым, самой обыкновенной, дворовой. Таких на Охте было по три на каждый забор.

Только моя мать была немая.

Я понял это не сразу: котята вообще мало что понимают, у них глаза закрыты первые дни. Но я помню её тепло, её язык, которым она вылизывала нам уши, её бок, который поднимался и опускался. И я помню тишину. Другие кошки в слободе орали весной на крышах так, что плотники кидались в них поленьями. Другие кошки звали котят, шипели на собак, ругались через забор. А моя мать — никогда. Ни мяу, ни шипения, ни мурлыканья. Она смотрела. И этого хватало.

Когда Степан положил нас с братом в лукошко и понёс к перевозу, она бежала за ним до самой воды. Молча. Я не видел — глаза ещё не открылись, — но я знаю: если бы она кричала, я бы запомнил её голос. А голоса я не помню. Значит, бежала молча.

Наверное, поэтому я и сам такой. Немногословный. Яблочко от яблони, как говорил потом один служитель, глядя на меня и на банку с братом. Хотя брат — это скорее яблочко в компоте.

Гм. Простите. Это семейный юмор.

Сейчас на дворе октябрь две тысячи тридцатого года. Мне триста двенадцать лет. Я не знаю, почему не умер. Сначала думал, что это от спирта, которым здесь пахнет всё. Потом — что от глобуса, в котором я сплю. Потом перестал думать: ес-

ли долго думать о том, почему живёшь, можно забыть жить. А у меня много дел.

У меня — музей.

Нет, по документам он, конечно, не мой. По документам он Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук, но так его зовут только на табличке и в бухгалтерии. Все остальные говорят — Кунсткамера. А я говорю — дом.

Я видел, как его строили. Видел, как он горел. Видел, как его заливала Нева, как его морозила блокада, как ему вставляли выбитые стёкла и отмывали фасад к юбилеям. Я видел здесь государя, который его придумал, Ломоносова, который здесь работал, Эйлера, который считал звёзды, и тридцать с лишним директоров, которые приходили и уходили, а я оставался.

И я видел посетителей. Миллионы. Хороших и плохих.

С хорошими у меня всё просто: я им помогаю. Тихо, чтобы не заметили. Нашёл потерянную варежку — положил на видное место. Ребёнок потерялся — сел у двери, за которой мама, и сижу, пока он не подойдёт погладить и не увидит маму. Хранительница уронила под шкаф ключ — к утру ключ лежит у неё на столе. Никто не знает, как. Пусть думают на уборщицу.

С плохими тоже просто. Плохим — я устраиваю.

Без членовредительства. Я не зверь. Ну, зверь, конечно, но воспитанный. Я не царапаю, не кусаю, не порчу одежду.

Я просто бросаюсь под ноги в темноте. Или сажусь на шляпу. Или хмыкаю за спиной в пустом зале, когда человек уверен, что он один. Или ем бутерброд, который положили на витрину с древними ножами, — потому что нечего класть бутерброды на витрины.

У меня есть чёрный список. Он в голове, но очень длинный, лет на триста.

Ну вот. Обход закончен. Всё на месте.

Я поднимаюсь в башню. Сто двенадцать ступенек. На пятом этаже — круглый зал, и в нём стоит глобус: медный шар в три с лишним метра, снаружи Земля, внутри — небо. Внизу у него, рядом с большой дверью для людей, есть маленькая дверца с медной петлёй. Её для меня сделал один шотландец в тысяча семьсот пятьдесят первом году. Я толкаю её головой. Петля блестит: я натёр её за двести восемьдесят лет.

Внутри темно, пахнет медью. Я ложусь на скамью и смотрю вверх. Медведица на месте. Полярная звезда на месте.

Значит, можно спать.

Я ещё не знаю, что через неделю мне скажут: всё это увезут.

Утром узнаю. А пока — спать.

Гм.

Глава 1. Собрание

Собрания у нас проводят в круглом зале под башней. Там длинный стол, сорок стульев и портрет государя в золотой раме, на которого все косятся, когда говорят про бюджет. Я сижу на подоконнике. Я всегда сижу на подоконнике на собраниях: оттуда видно всех, а меня никто не просит выйти. Один раз, в шестидесятых, попросили — один заместитель директора по хозяйственной части, бывший военный. Через неделю он нашёл у себя в фуражке дохлую мышь. Больше меня не просили.

В то утро собрались все. Даже уборщицы. Даже бухгалтер Нина Фёдоровна, которая на собрания не ходит из принципа, потому что «всё равно потом всё переврут». Даже Жора — новый ночной сторож, который должен был спать после смены, но пришёл, жуя пирожок, и сел в последний ряд, вытянув ноги в проход.

Я его отметил. Пирожок в зале, ноги в проходе. Пока — карандашом.

Директор встал, откашлялся и сказал, что разговор будет серьёзный.

Когда директор говорит «серьёзный», это значит одно из двух: или денег не дадут, или дадут, но лучше бы не давали. Я этих директоров видел тридцать с лишним. Интонация у них одинаковая, меняются только галстуки.

На этот раз дали.

Директор сказал, что здание наконец признали аварийным — то есть признали то, что все и так знали. Крыша течёт. Перекрытия на третьем этаже прогибаются. Проводка такая, что пожарный инспектор каждый год крестится, хотя по должности ему не положено. И на всё это выделены деньги — на большую реконструкцию.

Все захлопали. Осторожно: никто не любит радоваться заранее.

А потом директор сказал главное. Музей закрывается через неделю. Всё, что внутри, нужно вывезти. Всё до последней витрины. В новое хранилище на окраине, которое строили пять лет и наконец достроили. Там будет климат, охрана и стеллажи до потолка. А здесь будут рабочие, леса, пыль и отбойные молотки.

— А надолго? — спросила Оля. Это молодая сотрудница с колечком в носу, которая кормит меня сухими шариками из пакета. Шарики пахнут рыбой и опилками одновременно. Я их ем из вежливости.

Директор развёл руками.

— Сроки уточняются, — сказал он.

Тут все замолчали, потому что каждый в этом зале знал, что значит «сроки уточняются». Это значит — года три. Или пять. Или никто не знает. В тысяча семьсот сорок седьмом году, после пожара, башню обещали восстановить за год, а восстанавливали четыре. При мне. Я ждал.

— А Барсук? — спросила Оля.

И все посмотрели на подоконник.

Я сидел и смотрел на них. Как обычно. Лапы подобраны, хвост вокруг лап. Шесть пальцев на каждой передней — видно, если знать, куда смотреть.

— А что Барсук, — сказал заместитель по хозяйственной части. Новый. Фуражки у него нет, и это его спасает. — Пристроим. Кто-нибудь возьмёт. Он же старый уже, наверное. Лет пятнадцать?

Я хмыкнул.

— Гм.

Несколько человек засмеялись. Главный хранитель Сергей Аркадьевич, который сидел у окна ближе всех ко мне, посмотрел на меня поверх очков. Очки у него на цепочке, борода седая, и смотрит он всегда так, будто проверяет, правильно ли ты пронумерован.

— Он не согласен, — сказал Сергей Аркадьевич.

Все опять засмеялись. А он не засмеялся.

Потом стали говорить про графики, про грузовики, про то, что первыми повезут фонды из подвала, потом — залы, потом — анатомию, потому что банки самое сложное, их нельзя трясти. Я слушал вполуха. Я уже всё решил.

Никуда я не поеду.

И ничего отсюда не поедет.

Это мой дом. Я его триста лет охраняю. Я его не отдавал ни огню, ни воде, ни голоду, ни немцам, и не собираюсь от-

давать какой-то фирме с грузовиками. Банки — мои. Брат — мой. Глобус — мой. Самураи, индейцы, маски, телёнок, младенцы, мамонтов зуб, который лежит в зале Сибири и про который все забыли, — моё. Я их всех считал по ночам триста лет. Каждую ночь.

А если их увезут, кого я буду считать?

Гм.

Собрание кончилось. Люди расходились, разговаривали тише обычного. Жора на выходе потянулся, зевнул, бросил бумажку от пирожка на подоконник рядом со мной и сказал:

— Ну что, кошара, пойдёшь на улицу? Там тебе самое место.

Бумажку я не тронул. Я её запомнил. Карандаш стал ручкой.

Когда все ушли, я остался на подоконнике и стал смотреть на Неву. Она была серая, октябрьская, с белыми барашками. За ней — Адмиралтейство, дворец, а правее, через реку, — крепость с ангелом на шпиле. Когда я родился, ничего этого почти не было. Был лес, болото и одна большая стройка.

И была Охта.

Я её не помню глазами. Глаза у котят открываются дней через десять, а меня унесли как раз на десятый день. Я помню её носом и боком.

Изба Степана Носова стояла на самом берегу, у реки. Степан был плотник с верфи, из тех, кого государь пригнал строить корабли со всей страны. Мужик хозяйственный, негра-

мотный, бородатый, пахнущий смолой и стружкой. Это я знаю точно: запах смолы для меня до сих пор — запах первого дома. Когда весной в музее открывают окна и с набережной тянет смолёными канатами от прогулочных катеров, я на секунду снова становлюсь слепым котёнком под лавкой.

Нас было пятеро. Мать родила нас под лавкой, в старой Степановой шапке. Трое — нормальные. А двое — я и брат — с лишним пальцем на каждой передней лапе. Шестым, сбоку, как большой палец у человека.

Мать вылизывала всех одинаково. Ей было всё равно, сколько у кого пальцев. Она лежала на боку, и мы висели на ней, как бусы. Она была тёплая и большая. И она молчала.

Я потом, когда вырос, встречал много кошек. Служительских, приблудных, казанских, ярославских. Все они говорили. Мяукали, урчали, шипели, ругались. Кошка не может не говорить: это у неё в крови, как охота. А моя мать — молчала. Совсем. Ни разу.

Может быть, она была больна от рождения. Может быть, её в котёнках напугали так, что голос пропал. Я не знаю. Мне некого спросить.

Но я думаю — она и не нуждалась в голосе. Она нас вылизывала, кормила, грела. Когда кто-нибудь отползал от бока, она подтягивала его лапой обратно. Без звука. Когда в избу заходила собака, она просто вставала — и собака уходила. Тоже без звука.

Я так и не научился мяукать. Не у кого было.

А на десятый день в избу пришла новость.

Новость пришла через сход. На Охте раз в неделю собирали плотников у церкви и читали указы: про жалованье, про пожары, про то, что нельзя рубить лес без спросу. И в тот раз прочитали новый. Государев. Про монстров.

Про то, что если у кого родится урод — человек, скотина или птица, — его не топить, не прятать, а нести к начальству. И что за это заплатят из казны. За живого урода скотского — до пятнадцати рублей.

Корова тогда стоила рубля два.

Степан пришёл со схода, сел на лавку и долго смотрел под неё. На шапку. На нас. Потом достал одного из нас, потом другого. Посчитал пальцы. Посчитал ещё раз. Я этого не помню — мне потом рассказали. Но я хорошо представляю, как это было: большая шершавая ладонь, запах смолы, и где-то рядом — молчащая мать, которая смотрит.

Потом Степан надел чистую рубаху.

Это я тоже знаю: про рубаху мне рассказали отдельно, и я долго не понимал, зачем это важно. А потом понял. Он шёл к начальству. Он шёл в город, к государевым палатам. Он хотел выглядеть прилично. Ради двух слепых котят он надел чистую рубаху.

Он положил нас в лукошко, укрыл тряпкой и пошёл к перевозу.

А мать побежала за ним.

Молча.

До самой воды.

И когда лодка отошла от берега, она, наверное, стояла у кромки и смотрела. Я этого не видел. Но я в это верю, потому что я сам, когда что-то уходит от меня по воде, иду до самого края и смотрю. Молча.

Это у меня от неё.

Ладно.

Через неделю закрываемся.

Посмотрим, кто кого.

Глава 2. Палка

Когда в городе узнают, что музей закрывается, в музей приходят все.

Это закон. Я его проверял несколько раз. Люди годами ходят мимо, говорят «надо бы сводить детей в Кунсткамеру», «надо бы как-нибудь», «ну это ж всегда тут стоит, успеем». А потом в новостях пишут «закрывается на неопределённый срок» — и у входа очередь до Дворцового моста.

В ту неделю очередь стояла с утра до вечера. Смотрительницы ходили с красными глазами — не от слёз, от недосыпа. Уборщица тётя Света выносила по три мешка фантиков в день. В анатомическом зале было не протолкнуться.

Я сидел на шкафу над телёнком и считал.

Не людей. Людей считать бесполезно. Я считал, кто как смотрит.

Хорошие смотрят на банку и молчат. Иногда долго. Иногда шепчут: «бедный». Иногда спрашивают у соседа: «а почему так бывает?» Таких я замечаю и стараюсь, чтобы им было видно. Если ребёнку не видно из-за спин — я спрыгиваю со шкафа прямо в толпу, и толпа расступается, потому что кот, и в образовавшуюся дыру как раз проходит ребёнок. Ловкость лап, никакого мошенничества.

Плохие смотрят на банку через телефон. Или вообще не смотрят, а смотрят на себя на фоне банки. Таких я тоже за-

мечаю.

В тот день была одна — в белом пальто и с палкой.

Палка — это такая штука, на которую цепляют телефон, чтобы снимать себя издалека. Её придумали лет двадцать назад, и с тех пор в музеях стало больше битых витрин и меньше смысла. Белое пальто вошло в анатомический с палкой наперевес, как гренадер со штыком. Сразу — к младенцам Рюйша. Отпихнула локтем мальчишку лет восьми, который стоял у самого стекла. Отпихнула его бабушку. Встала спиной к витрине, вытянула палку и скорчила лицо.

— Фу, ну и мерзость, — сказала она в телефон. — Девочки, смотрите, где я. Тут уродцы в банках. Кто вообще на это ходит смотреть?

И постучала палкой по стеклу.

По стеклу витрины Рюйша.

Этим младенцам триста лет. Голландский старик сшил им кружевные воротнички, чтобы людям было не страшно на них смотреть. Их не тронули ни в пожар, ни в блокаду. А она — палкой.

Гм.

Я спустился со шкафа. Тихо. Мимо ног, под витриной, вдоль стены. В анатомическом зале у окна есть тёмный угол — там лампа не достаёт, и туда никто не смотрит. Я сел в угол и стал ждать.

Белое пальто наснимало себя у младенцев, у телёнка, у поросёнка с хоботом. Потом двинулось к выходу — прямо

мимо моего угла. Глядя в телефон. Палка — на плече.

Я вышел из угла ровно в тот момент, когда её левая нога поднялась.

Бросок под ноги — это искусство. Плохой кот бросается куда попало и получает пинка. Хороший — выбирает момент, когда нога в воздухе и человек ещё не решил, куда её поставить. Тогда человек видит под собой что-то тёмное и живое, и всё его тело само, без спроса у головы, решает, что ставить ногу туда нельзя. Он подпрыгивает. Он машет руками. Он кричит. А кот уже под соседней витриной.

Белое пальто закричало так, что в зале Японии обернулись самураи. Ну, если бы могли.

Палка улетела. Описала дугу над головами и звонко шлёпнулась на пол, а телефон отцепился и уехал по мрамору под шкаф с черепами. Глубоко. К самой стене.

Я сидел под соседней витриной и смотрел.

Белое пальто полезло под шкаф. На четвереньках. В белом пальто. Под шкаф, где тётя Света моет раз в неделю, а пыль там триста лет. Посетители стали оборачиваться. Кто-то хихикнул. Мальчишка, которого она отпихнула, стоял теперь у самого стекла витрины Рюйша, и бабушка гладила его по голове, и они смотрели на младенцев. Молча.

Хорошо.

Телефон достала смотрительница. Длинной шваброй. Подала белому пальто, которое было уже не очень белым, а скорее серым в полоску. Пальто выхватило телефон, ничего не

сказало и ушло, оглядываясь.

На меня никто не подумал. Кот как кот. Сидит, умывается.

Смотрительница, Вера Павловна, посмотрела на меня. Долго. Она у нас двадцать лет работает и кое-что подозревает.

— Ну ты, Барсук, — сказала она тихо. И улыбнулась. Совсем чуть-чуть.

Гм.

Я ушёл на свой шкаф и сел над телёнком.

Вечером, когда зал опустел, я спустился к брату. Мне захотелось рассказать ему про палку. Он бы оценил. Хотя кто его знает: мы с ним виделись всего десять дней, пока были живыми оба, и у нас не было времени узнать друг друга.

Эти десять дней кончились в лодке.

Я лежал в лукошке, прижавшись к брату, и лукошко качалось, и пахло водой — сырой, холодной, апрельской. Было слышно, как Степан дышит и как плещут вёсла перевозчика. Брат не шевелился. Он вообще был слабее: молока ему меньше доставалось, я его отталкивал. Это я сейчас понимаю, что отталкивал. Тогда я просто хотел есть.

Потом лукошко перестало качаться, и пошли шаги — долгие, по деревянным мосткам, потом по земле. Потом — запах. Новый. Такого на Охте не было. Острый, режущий, от которого сразу заслезились нераскрытые глаза.

Спирт.

Это были Кикины палаты. Каменный дом у Смольного двора, на другом конце нынешнего города. Хозяина их, Кикина, той весной казнили по делу царевича Алексея, дом отписали в казну, и государь велел свозить туда свои редкости, пока для них строят новое здание. То есть вот это. Где я сейчас сижу.

Степан поставил лукошко на стол перед копиистом.

Копиист был молодой, худой, в парике не по размеру. Звали его Пантелей Сутугин. Нос у него был красный, глаза слезились: у него было что-то вроде насморка от кошек. Он вообще не любил ничего живого. Мёртвое он любил: оно не линяет и лежит смирно.

— Вот, по указу, — сказал Степан. — Монстры кошачьи. О шести перстах. Живые. Два.

Пантелей заглянул в лукошко и чихнул.

Дальше они спорили. Это мне потом много раз пересказывали — служитель Ефим, который стоял у двери с метлой и слушал, рассказывал эту историю всем, кто соглашался слушать, лет сорок подряд. Я лежал у него на коленях и слушал тоже. Так что я знаю её наизусть.

Пантелей сказал, что живые кошки государевой Кунсткамере без надобности. Их кормить надо. И что пятнадцать рублей за кошку — грабёж казны.

Степан сказал, что указ есть указ.

Пантелей сказал, что в указе про кошек ничего не сказано. Сказано — «скотина».

Степан сказал, что кошка — скотина.

Пантелей сказал, что кошка — тварь бесполезная.

Степан сказал, что у него в избе мыши ведро зерна за зиму съели, пока кошки не было, а как кошка завелась — ни одной, так что пускай господин копиист сам решает, кто тут бесполезный.

Ефим у двери, по его словам, засмеялся в метлу.

Спорили полчаса. Кончилось тем, что Пантелей заплатил. Не по пятнадцать, а по семь рублей. Как за птицу. Степан поворчал, но взял: четырнадцать рублей — тоже деньги, на них, говорят, он потом срубил себе новую баню.

Значит, я стоил семь рублей. Три с половиной коровы. Ни один кот на свете до меня столько не стоил. Я этим до сих пор горжусь, хотя понимаю, что гордиться тут, в общем, нечем.

Степан ушёл. Я его больше никогда не видел. Не знаю, вернулся ли он к матери и что ей сказал. Наверное, ничего. Кошкам ничего не говорят.

А Пантелей, вытирая нос, сказал Ефиму:

— Отнеси в лабораторию. Пусть положат в спирт. Обоих. Живых держать не будем.

И Ефим взял лукошко.

Гм.

Я посидел у брата ещё немного. Потом пошёл проверять зал Японии: после белого пальто мне всё казалось, что кто-то ещё может постучать по стеклу. Но там было тихо. Самураи стояли.

Ещё шесть дней, подумал я.
Посмотрим.

Глава 3. Жора

Сторожей у нас два. Василий Андреевич и Жора. Они меняются: сутки через двое, а на последней неделе, когда всё стало суматошно, — через ночь.

Василий Андреевич работает двенадцать лет. Ему шестьдесят восемь, у него колено, у него маленький телевизор в сторожке, на котором каждую ночь идёт одно и то же кино про войну, и у него в холодильнике всегда лежит «докторская» колбаса. Он режет её толсто и зовёт меня Хозяином. Он засыпает на посту примерно к половине третьего, но это не его вина — это колено и возраст. В два он обходит нижний этаж, а в шесть — все залы, и ни разу за двенадцать лет не пропустил.

Василий Андреевич у меня в другом списке. В белом.

Жора работает три месяца. Ему тридцать один. Он высокий, в кожаной куртке, с маленькой бородкой и большим телефоном. Телефон у него всегда в руке, даже когда он ест. А ест он всегда. Пирожки, чипсы, шаурму. В залах. На витринах. Я сам видел, как он поставил стакан с кофе на витрину с японскими мечами — прямо над клинком шестнадцатого века. Стакан оставил кольцо на стекле. Кольцо тётя Света оттирала утром десять минут и ругалась так, что даже я покраснел под шерстью.

А в первую же неделю, когда я вышел к нему на обходе —

посмотреть, что за новый человек, — Жора сказал «брысь» и махнул ногой.

Не попал. Я триста лет уворачиваюсь от ног. Но — махнул.

С того дня Жора у меня в чёрном списке. Красными чернилами.

У Жоры есть канал. В интернете. Я плохо понимаю, что это такое, но понимаю главное: Жора снимает себя на телефон, а потом другие люди это смотрят. Много людей. Жора снимает «страшные истории»: он ходит ночью по музею с фонарём и рассказывает, какие тут ужасы. Что в банках шевелятся. Что по ночам слышны шаги государя. Что смотрительница, которая умерла в блокаду, бродит по залам.

Про смотрительницу — это он зря. Она не бродит. Она умерла у витрины, проверяя номера, и я сидел с ней до утра. Она не стала бы бродить. Ей было некогда.

Гм.

В ту ночь Жора решил снять «прощальный выпуск». Последняя неделя, музей закрывается, «я проведу ночь один среди мертвецов». Он так и сказал в телефон, стоя в анатомическом зале с фонарём под подбородком, чтобы лицо было зловещее. Лицо было не зловещее. Оно было такое, будто у человека болит зуб.

— Я тут один, — сказал Жора телефону. — Совсем один. Вокруг — тьма. Мне не страшно. Я вообще ничего не боюсь. Сейчас я вам покажу самое жуткое место...

И пошёл к шкафу с братом.

Я сидел на шкафу над телёнком. В темноте. Он меня не видел.

Жора подошёл к витрине. Посветил на брата. Брат лежал, как лежит триста двенадцать лет, — тихо, растопырив лапы. Жора скорчил рожу:

— А вот это — кот-мутант. Ему отрезали лишние лапы и законсервировали. Говорят, по ночам он скребётся изнутри...

Отрезали лапы.

Скребётся.

Мой брат.

Гм, — подумал я. Вслух — пока нет.

Я знаю этот шкаф лучше, чем Жора — свою куртку. Верхняя дверца у него, если надавить на угол, открывается сама. Медленно. С таким скрипом, будто кто-то тянет её изнутри. Петля там старая, ещё дореволюционная, её никто не смазывал с тысяча девятьсот двенадцатого года, потому что смазывать — значит снимать стекло, а снимать стекло — значит писать бумагу, а бумагу писать никто не любит.

Шесть пальцев — удобная вещь. Я надавил.

Дверца пошла.

И-и-и-и-и...

Жора замолчал на полуслове. Фонарь дёрнулся вверх. Луч заплясал по банкам — ящерицы, змеи, младенцы, — и остановился на открывающейся дверце. А за дверцей — темно-

та. И в темноте — два жёлтых глаза.

Мои.

Я посмотрел на Жору сверху. Медленно. Как смотрят на человека, который только что назвал твоего брата мутантом.

И сказал:

— Гм.

Низко. Хрипло. Отчётливо. Я триста лет тренировался.

Жора закричал так, что, говорят, Василий Андреевич в сторожке проснулся, хотя был выходной и Василия Андреевича в сторожке не было. Фонарь улетел под витрину. Телефон — нет: телефон Жора держал крепко, как утопающий. Он кричал, пятился, налетел спиной на шкаф с черепами, черепа брякнули, он закричал снова, развернулся и побежал. По коридору. По лестнице. Вниз. До самой сторожки.

А телефон, между прочим, всё это время снимал.

Я спустился со шкафа, закрыл лапой дверцу, проверил брата — на месте — и пошёл на обход.

Утром Оля пришла на работу и долго хихикала в телефон у себя в кабинете. Потом показала другой сотруднице. Потом третьей. К обеду весь музей знал, что у Жоры «прощальный выпуск» посмотрели двести тысяч человек, и что лучше всего там — момент, где из тёмного шкафа хмыкают.

«Это лучшее, что я видела за год». «Кот гений». «Сторож, ты зачем кота обидел, он тебе ответил». «Ставлю на кота».

Жора три дня не здоровался со мной. Я с ним тоже. Но мы оба знали, кто победил.

Гм.

А банку с братом в ту ночь мне захотелось проверить ещё раз. И ещё. Я сидел у неё до рассвета.

Потому что я знаю, как он туда попал. И Жора про это ничего не знает.

Ефим взял лукошко со стола у Пантелея и пошёл через двор. Ему было восемнадцать лет. Солдатский сын: отец погиб под Полтавой, мать умерла от горячки, мальчика взяли служителем при палатах — мести, топить, носить. Длинный, сутулый, с огромными руками и веснушками даже зимой. Читать почти не умел. Жалел всё, что пищит.

Двор у Кикиных палат был маленький, мощёный, с колодцем посередине. Лаборатория — во флигеле напротив. Пятьдесят шагов.

Там работал препаратор, немец Иоганн Георг, с красным лицом и в кожаном фартуке. Он клал в спирт всё, что приносили. Хорошо клал: банки у него стояли по сто лет и не мутнели. Двухголовый телёнок, над которым я сижу на шкафу, — его работа.

Ефим шёл, и на двадцатом шаге я пискнул.

Я был голодный. Лукошко качалось. Я пискнул тонко и противно, как пищат все котята. Брат не пискнул — он уже не мог.

Ефим остановился у колодца.

Он потом рассказывал этот день так часто, что я помню его наизусть. Всегда одинаково, слово в слово. «Стою я, зна-

чит, посреди двора, а он пищит. И я думаю: вот я сейчас отнесу, и немец его в банку. Живого. Он же живых прямо в спирт, им там недолго. И я думаю: а за что?»

А за что.

Он не нашёл ответа. Поднял тряпку. Посмотрел на нас. Брат лежал тихо. Я лез из лукошка.

У Ефима была одна минута и две руки. Он взял одного.

Меня.

Сунул за пазуху, под рубаху, к телу. Я сразу замолчал: там было тепло и пахло человеком — потом, хлебом и печной золой.

А лукошко с братом отнёс Иоганну Георгу. И сказал, что второй сдох по дороге и он его выкинул в Неву.

Немец кивнул. Ему было всё равно. У него на столе лежали в тот день поросёнок о восьми ногах и ягнёнок без глаз.

Так брат попал в банку.

Никто ему лапы не отрезал. Наоборот: их сохранили. Все двенадцать пальцев. Чтобы люди смотрели и понимали, что природа иногда ошибается, и это не страшно и не от чёрта. Это государь так велел.

А по ночам он не скребётся. Он спит.

Это я скребусь. Иногда. Когда никто не видит. По стеклу снаружи. Чтобы он знал, что я тут.

Гм.

Глава 4. Проверка

Раз в месяц, ночью, без предупреждения, приезжает проверка.

Это человек из охранной фирмы. Его зовут Дмитрий Олегович, ему лет сорок, он ходит в чёрном и с планшетом, и у него лицо человека, который ни разу в жизни не улыбнулся бесплатно. Он приезжает в случайный час, звонит в дверь, и если сторож не открывает через минуту — пишет бумагу. Если сторож открывает заспанный — пишет бумагу. Если в журнале обходов не стоит подпись за последний час — пишет бумагу. Три бумаги — увольнение.

У Василия Андреевича две.

Обе — за сон. Обе — за прошлый год, когда у него болело колено и он пил таблетки, от которых клонит в сон. Колено с тех пор не прошло, таблетки он пьёт те же, а третьей бумаги до сих пор нет.

Потому что есть я.

Я не знаю, как я узнаю, что он едет. Может быть, по звуку: его машина подъезжает к набережной со стороны моста, и мотор у неё тарахтит особым образом, с присвистом. А может быть, я просто чувствую. За триста лет я научился чувствовать, когда к дому подходит неприятность. Нос у меня, что ли, такой.

В ту ночь, на последней неделе, — было без пяти три.

Василий Андреевич спал в сторожке. В кресле. Голова набок, очки на лбу, руки на животе. В телевизоре немцы шли в атаку, а наши их встречали, и звук был тихий, чтобы не мешать. Журнал лежал на столе раскрытый. Последняя подпись — в два ноль пять.

Я сидел на подоконнике в вестибюле. И услышал присвист.

Будить человека — тоже искусство. Плохой кот орёт над ухом. Я не ору: я, как вы помните, вообще не мяукаю. Плохой кот прыгает на грудь. Это неправильно: человек от испуга машет руками и может уронить кота, а заодно и телевизор. Плохой кот лижет лицо. Это противно и долго.

Я делаю иначе.

Ключи. У Василия Андреевича на поясе связка — сорок два ключа, я считал. Когда он садится, связку он кладёт на стол рядом с журналом. Связка тяжёлая. Если её столкнуть со стола на пол — будет грохот, будто уронили ведро с гайками. Но если столкнуть её не на пол, а на колени спящему, — будет грохот плюс прикосновение. От этого человек просыпается сразу и целиком, без размахивания руками. Проверено.

Я прыгнул на стол. Подвинул связку лапой к краю. Ещё. Ещё.

Бух.

Василий Андреевич вскинулся. Очки упали со лба на нос. Он посмотрел на ключи на коленях, потом на меня на столе,

потом на часы.

— Мать честная, — сказал он. — Три.

И тут в дверь позвонили.

Он открыл через сорок секунд. Я считал. Бодрый, с ключами в руке, в очках, застёгнутый на все пуговицы. Дмитрий Олегович посмотрел на него, посмотрел на журнал, посмотрел на часы, ничего не нашёл и поскучнел.

— Обход в три пятнадцать, — сказал Василий Андреевич. — Как по графику.

— Угу, — сказал Дмитрий Олегович и что-то отметил в планшете. Не бумагу. Просто отметил.

А потом он увидел меня. Я сидел на столе рядом с журналом. Как бы проверял подписи.

— А это что? — спросил Дмитрий Олегович. — Животное на посту — не положено.

— Это не животное, — сказал Василий Андреевич. — Это Хозяин. Он тут раньше нас с вами был. Его по описи числят.

Это неправда. По описи меня не числят. Вернее, числят, но там всё сложно, я про это потом узнаю. Но Дмитрий Олегович этого не знал. Он посмотрел на меня ещё раз.

Я посмотрел на него.

— Гм, — сказал я.

Дмитрий Олегович моргнул, что-то пробормотал про «развели тут» и уехал. Без бумаги.

Василий Андреевич закрыл за ним дверь, вернулся, сел в кресло и долго смотрел на меня.

— Ты ж мой хороший, — сказал он. — Ты ж мой спаситель. Колбаски?

Колбаски.

Он отрезал. Толсто. Как всегда.

Я съел и ушёл на обход. Это не благодарность, это работа. Сторож должен быть на посту, иначе кто будет сторожить? А если его уволят, пришлют другого Жору. Мне одного хватает.

Гм.

Кстати, про колбасу. Первую еду в своей жизни, не считая материнского молока, я получил тоже от человека. И тоже ночью, тайком.

Ефим сунул меня за пазуху у колодца и так и нёс весь день. Работал — мёл, носил дрова, топил печи — а я сидел у него под рубахой и молчал. Мне там было хорошо. Потом, к вечеру, я проголодался и начал возиться. Ефим испугался: если Пантелей узнает, что второй котёнок жив, обоих в банку — и меня, и, пожалуй, Ефима.

У вдовы-соседки, через забор от палат, была коза. Ефим пошёл к вдове и сказал, что у него болит живот и ему лекарь велел пить козье молоко. Вдова пожалела сироту и налила. Ефим принёс молоко в склянке в каморку под лестницей, где спал, макнул в него тряпочку и сунул мне в рот.

Я сосал тряпочку, как мать.

Так он кормил меня месяц. Каждый день ходил к вдове и врал про живот. Вдова поила его, сироту, молоком и жалела

всё больше. Под конец она стала добавлять в склянку мёд и лук от простуды. Лук я не ел. Ефим, говорят, пил сам — чтобы не обидеть.

Меня он держал в коробке за печью в каморке. Днём я спал. Ночью, когда в палатах никого не было, Ефим выпускал меня походить.

Я помню первую ночь, когда я вышел в зал сам, на своих лапах. Мне было полтора месяца. Глаза уже открылись. Ефим поставил меня на пол и сказал: «Ну, иди. Гляди, что тут».

И я пошёл.

Было темно. Пахло спиртом. На полках стояли банки, а в банках лежали такие, как мой брат. Младенцы. Телята. Змеи. Рыбы. Они смотрели на меня выпуклыми глазами сквозь выпуклое стекло.

А я не боялся.

Мне не с чем было сравнивать. Я думал, что мир так и выглядит: полки, банки, и в банках лежат те, кто не успел пискнуть вовремя. А живые — это я и Ефим. Так я думал года два.

Через полгода нас поймали.

Не Пантелей — немец. Иоганн Георг. И не поймали даже, а Ефим сам проговорился. Он заметил, что я не расту. Котята соседской кошки к осени уже ловили мышей и дрались, а я помещался на ладони, как в апреле. Ефим решил, что я больной. Что раз природа ошиблась на лапах, то ошиблась

и во всём остальном, и я скоро помру. И пошёл советоваться к единственному человеку в палатах, который понимал в монстрах.

Ефим был добрый, но не очень умный. Он забыл, что немец считает меня утопленным.

— А бывает, — спросил он, — чтобы монстр кошачий не рос?

Иоганн Георг поднял голову от стола и сказал:

— А ты откуда знаешь, что он не растёт? Он же в Неве.

Ефим побелел.

Немец смотрел на него долго. Потом вытер руки о фартук. Сказал по-немецки слово, которое Ефим запомнил на всю жизнь и потом повторял мне, когда сердился. Слово неприличное. Я его не скажу. Потом немец сказал по-русски, с акцентом:

— Неси показывай.

И Ефим принёс.

Иоганн Георг посадил меня на тот самый стол, где резал. Я сидел и шипел — тогда я ещё шипел, это потом я перешёл на «гм». Он меня не трогал. Он смотрел. Мерил ниточкой от носа до хвоста. Взвешивал на весах для лекарств. Считал пальцы. Смотрел зубы. Потом сел на табурет и долго думал.

— Держи у себя, — сказал он наконец. — Пантелею не показывай. Каждый месяц приноси мне. Буду мерить. Помрёт — принеси, положу к брату. Не помрёт — посмотрим.

И он мерил меня каждый месяц два года. Записывал в тет-

радку по-немецки, мелко, столбиком.

А весной, когда мне исполнился год, я пошёл в рост. Сразу, за одно лето. Немец сначала не поверил своим ниточкам и перемерил. Потом записал и подчеркнул два раза. А Ефиму сказал:

— Природа его задержала. Как часовщик задерживает маятник. Посмотрим, сколько он будет идти.

Он смотрел восемнадцать лет, пока не умер сам. Ефим рассказывал, что последняя запись в тетрадке была такая: «Восемнадцать лет. Признаков старости нет. Не понимаю».

Вот это я уважаю. Первый учёный, который меня изучал, и единственный, кто честно написал: не понимаю.

Гм.

Я вернулся с обхода в сторожку в половине пятого. Василий Андреевич опять спал. Тихо, без телевизора. Журнал был подписан в три пятнадцать и в четыре.

Я посидел у него на столе, посмотрел, как он дышит. Потом лёг на журнал и уснул тоже. До шести.

В шесть он проснулся сам. Потому что в шесть — обход.

Двенадцать лет, ни разу не пропустил.

Глава 5. Серёжка

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.